

ПОИСКИ “НРАВСТВЕННОГО СОГЛАШЕНИЯ” МЕЖДУ ЛЮДЬМИ КАК АВТОРСКАЯ ЗАДАЧА В РУССКОЙ ПРОЗЕ 1860–1870-Х ГОДОВ

© 2004 В.А. Свительский

Воронежский государственный университет

Русская психологическая проза 60–70-х годов XIX века в поэтико-структурной реализации своих замыслов всерьёз столкнулась с опасностью апологии индивидуализма, со стихией субъективизма и относительностью нравственных мерок. Личностное бытие уникально по своей природе, изначально тяготеет к автономии. “Другой человек” замкнут, закрыт для взгляда со стороны, обладает своего рода “экстерриториальностью”. Крайнее выражение это находит в индивидуалистическом мировосприятии, доводя его носителя до самоотрицания. Для индивидуалиста ничего и никого, кроме него, не существует. Во время разговора с посланцем русского императора Наполеона “не интересовала нисколько личность Балашева. Видно было, что только то, что происходило в его душе, имело интерес для него. Всё, что было вне его, не имело для него значения, потому что всё в мире, как ему казалось, зависело только от его воли”¹. В капитане Рамбале заметна “непроницаемость этого человека ко всему тому, что не было он сам” / VI, 378/.

Такие характеры, если строить изображение только на них, не открывали возможности для положительной перспективы, в состоянии были разрушить, раздробить целостную картину мира на отдельные, не связанные друг с другом мирки. Ещё рискованнее было художнику иметь дело с “антигероями” типа “подпольного человека” Достоевского, с их агрессивной, болезненной психикой, бесконтрольно подавляющей окружающий мир. Тем не менее писатели шли на риск,

видя в личности и человеческой индивидуальности безусловные ценности, доказывая своим изображением их ценностный статус.

Однако, даже показывая индивидуалистически замкнутые характеры и соблюдая при этом неотменимые правила воссоздания личности, писатель-психолог при этом не отказывался от своего гуманистического взгляда, сохранял собственную позицию. Он находил меру-соотношение между невмешательством в право личности быть самой собой и проникновением в её кругозор. Психологическая проза и указывала на непреложность “преграды”, “которая стоит между человеком и другими” (Толстой, 30, 22), и несла преодоление этой преграды. Литература внимательно вникала в причины и условия людского разобщения, затрудняющие взаимное понимание, нарушающие связь между людьми. Чутко воспринимая особенности пришедшей эпохи и видя, что “ни в чём почти нет нравственного соглашения”², она ставила своей целью достижение этого “соглашения” между современниками, между ними и жизнью³.

И вот параллельно с тщательным объективным восстановлением мира личности в психологической прозе на другом, только более высоком уровне совершается как бы “обратный ход” художественной мысли: выделенная, заявившая о себе и независимо существующая личность вклю-

¹ Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 22 т. — М., 1980. — Т. VI. — С. 27. “Война и мир” цитируется в дальнейшем по этому изданию: римская цифра обозначает том, арабская — страницу. Цитаты из других сочинений Л. Толстого, кроме “Анны Карениной”, даются по Полн. (юбилейному) собр. соч. в 90 т. (М. — Л., 1928-1958) с указанием тома и страниц арабскими цифрами.

² Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. — Л., 1981. — Т. 22. — С. 80. Произведения Достоевского в дальнейшем цитируются по этому изданию с указанием тома и страницы арабскими цифрами.

³ О характерности для 60-х годов мысли о единстве человеческого сообщества см.: Лотман Л. М. Реализм русской литературы 60-х годов XIX века / Л. М. Лотман. — Л., 1974. — С. 187. “Мысль о согласии — центральная идея Достоевского. Она витает и над его поэтикой”, — отмечает И. П. Золотусский (см. его кн. “Очная ставка с памятью”. — М., 1983. — С. 223).

чается в человеческое общение, вводится в берега гуманистической ориентации, соотносится с народом и человечеством. Проза этого периода решает задачи на преодоление розни между людьми, на отыскание путей к другому человеку, стараясь разомкнуть погружённую в себя личность, навести мосты между обособленным человеком нового времени и людским сообществом, личностью и жизнью. "Художество" выясняет психологические и нравственные средства для победы над одиночеством, непониманием, предубеждениями.

Левин в романе "Анна Каренина" призывает Облонского: "Ты постарайся, войди в меня, стань на точку зрения деревенского жителя"⁴. Именно "все более и более входя в ее положение", Левин чувствует "нежность и жалость" / 583-587/ к Анне. И это самое первое условие для преодоления "другости" (понятие М. М. Бахтина), для достижения взаимопонимания — "войти" в другого человека, в его положение, постаравшись понять, став на точку зрения *другого*.

"...Век всепонимания — век релятивизма, с чудовищной способностью к перевоплощению — девятнадцатый" (О. Манделштам) [1, 85], имеет в этом отношении свою историю, свои этапы развития. Не сразу сложились принципы и правила понимания другого человека. Достоевский отдал должное Пушкину: "Он, барич, Пугачева угадал и в пугачевскую душу проник, да ещё тогда, когда никто ни во что не проникал. Он, аристократ, Белкина в своей душе заключал. Он художнической силой от своей среды отрешился и с точки зрения народного духа её в Онегине великим судом судил" / 5, 51-52/. От читателя "Шинели" требуется "сколько-нибудь представить себе положение другого" [2, 162]. Ап. Григорьев в письме, открывающем его работу "О правде и искренности в искусстве", обсуждает с А. С. Хомяковым, "имеет ли право художник переноситься совершенно в чуждое ему состояние духа, мирозерцания, строй чувствований" [3, 51]. По Тургеневу, в природе царит "та общая, бесконечная гармония, в которой <...> всё, что существует, — существует для другого, в другом только достигает своего примирения или разрешения..." [4, 415-416]. А приметой "объективного писателя" он считает преимущественное "изучение человеческой физиономии, чужой жизни", а не "изложение собственных чувств и мыслей" [4;9; 279-280]. Князь Мышкин у Достоевского горюет: "Почему мы никогда не мо-

жем узнать *всего* про другого..." / 8, 484/. Митенька Карамазов не сразу, но осознает: "Потому мыслю об этом человеке, что я сам такой человек" / 14, 99/. Это первичная форма гуманистического отношения к другому человеку. Но не забудем и базаровское: "... нам других подавай! нам других ломать надо!" [4;8; 380].

Левина отличает особая бережность в отношении к другому человеку, и в день свадьбы он сомневается, думая о Кити: "Но знаю ли я её мысли, её желания, её чувства?" / 375/. Когда же "он не перенесся в неё" / 345/, это чревато мучительными переживаниями для любимого человека. Долли не осуждает Анну, потому что "мысленно переносится" в неё / 525/, способна стать как бы ею / 511/. И Анна, только когда чувствует "за Каренина" ("в первый раз она на мгновение почувствовала за него") / 309-310/, жалеет его. Толстовское искусство предельно внимательно к тем моментам, в которые одному человеку открывается другой человек, когда исчезает перегородка между ними. В седьмой части романа, перед родами Кити, при горящей свече (в конце этой части потухнет свеча, светившая Анне) Левин вдруг "поражен", какою в ожидании и предчувствии наступающего события предстает Кити, "поражен тем, что обнажалось теперь перед ним, когда вдруг все покровы были сняты и самое ядро её души светилось в её глазах" / 592/.

Оказывается, личность сама тяготеет своей единичностью, отчуждающей ее от других людей. Андрей Болконский в Отрадном, наблюдая, как бурлит жизнь вокруг него, как переживает свою молодость Наташа, жалуется про себя: "И дела нет до моего существования!" / V, 164/. Левин в печали и горести после отказа Кити страдает: "И не гожусь я для других людей" / 76/. Даже Каренину в горе не хватает того, "кто бы пожалел его не как высшего чиновника, не как члена общества, но просто как страдающего человека" / 427/. Даже Фёдор Павлович Карамазов иногда "моментально и непостижимо" ощущает в себе "необычайную потребность в верном и близком человеке" / 14, 86/. А когда личность настраивается на жизнь, когда она из состояния тупика, "убитости" возвращается к полноценному бытию, она тем более не хочет жить для одной себя, замкнуто в себе. Решивший, что жизнь его в тридцать один год не кончена, князь Андрей думает: "Мало того, что я знаю всё то, что есть во мне, надо, чтоб и все знали это: и Пьер, и эта девочка, которая хотела улететь в небо, надо, чтобы все знали меня, чтобы не для одного меня шла моя жизнь, чтобы не жили они так, как эта девочка, независимо от моей жизни, чтобы на всех она отражалась и чтобы все они жили со мною вместе!" / V, 165/. В нем пробуждается "новое, отрад-

⁴ Толстой Л. Н. Анна Каренина / Л. Н. Толстой. — М., 1970. — С. 36 (сер. "Литературные памятники"). Роман везде цитируется по этому изданию с указанием страниц.

ное и успокоительное чувство”, когда он, видя крестьянских девочек со сливами в саду в Лысых Горах, “понял существование других, совершенно чуждых ему и столь же законных человеческих интересов, как и те, которые занимали его” /VI, 130/.

Герои Достоевского откровенно разрываются между двумя противоположными стремлениями: желанием уйти в себя ещё больше, спрятаться от “всех” (самыми последними пристанищами индивидуалистического уединения становятся “угол”, “подполье”) и тоской по общению с другими людьми. “Ну как же, как же без человека-то прожить!” — восклицает Соня /6, 323/, догадываясь о муке безысходного одиночества, переживаемой Раскольниковым. Для героев Достоевского соединение с “другим” — единственная спасительная “соломинка” в трагическом коловращении судьбы. Возвращение же ко “всем”, соединение с людьми для индивидуалистически замкнувшегося героя может произойти лишь через всё развязывающий поступок, подобный символическому жесту: через покаяние на Сенной площади у Раскольникова, через публичное признание своей вины Иваном Карамазовым, через обнародование исповеди — признания в грехе, что не состоялось у Ставрогина...

Людской розни “железного века” Толстой и Достоевский противопоставляли идеальный принцип любовного единения с другим человеком. “Закон гуманизма”, по Достоевскому, — в том, чтобы приносить “любовью в жертву своего Я людям или другому существу” /20, 175/. “Земная жизнь, а с нею времена и сроки” даны человеку для “любви деятельной, живой” /14, 292/. Идея любви неминуемо актуализировала христианское мировосприятие. В исполнении заповеди “Возлюби ближнего твоего, как самого себя” Толстой и Достоевский видят путь к преодолению индивидуализма и объединению людей⁵. Смертельно раненный, князь Андрей узнает “любовь” как “самую сущность души” /VI, 399/. Как ни отвлеченна и ни бесплотна эта любовь (все Болконские вообще обречены у Толстого на максималистскую односторонность духовного проявления, часто расходящегося с конкретнос-

тью жизни и мучающего их самих), тем не менее она помогает ему выйти из гордой замкнутости своего “я”, “в первый раз” представить “душу” Наташи (т. е. проникнуть в другого человека) и простить её. Когда, казалось бы, всё в его жизни кончается и остается готовиться к близкой смерти, в нём происходит спор между “божескою” и “человеческою” любовью, и земная любовь Наташи на некоторое время вырывает его у смерти, связывает с жизнью, дает ему счастье, не испытанное до этого. Перед лицом надвигающейся смерти, однако, две любви — “божеская” и “человеческая” — соединяются в его мыслях. Возрождающаяся после тяжелого кризиса Наташа переводит слова богослужения в московской церкви на свой, ей более понятный язык: “миром, — все вместе, без различия сословий, без вражды, а соединенные братской любовью...” /6, 80/. И это ощущение единства нужно в преддверии грозных испытаний, ждущих Москву, москвичей и уже переживаемых частью русских людей. Новая рана после смерти Болконского — гибель Пети — вызывает Наташу к жизни, к любви. Её уход за матерью, убитой горем, ещё раз обнаруживает, что “сущность её жизни — любовь” /VII, 189/, и торжествует “любовь Наташи, упорная, терпеливая, не как объяснение, не как утешение, а как призыв к жизни” /VII, 188/...

Человек оказывается способным любить “другого” “больше себя” / “Война и мир”, IV, 288/. Осуществление идеального принципа начинается с отношений между мужчиной и женщиной, с семейного союза. Именно в них любимый человек уже перестает быть чужим человеком, в них первое и непростое преодоление расстояний между людьми. Отношения в семье, между близкими людьми, между мужем и женой, между отцом и детьми — клетка важнейших людских взаимоотношений, с неизбежно сопутствующими им категориями “свободы” и “зависимости”, “суда” и “вины”... Психологическая проза не только художественно обосновывает идеальный принцип, но и анализирует условия его воплощения в реальной жизни. В ней показываются и закономерности, и парадоксы любовного стремления людей друг к другу, выясняются границы между эгоизмом и альтруизмом. Личность проверяется способностью любить и быть достойной любви, и проверка любовью приобретает социальный и философский смысл.

На стадии романтического индивидуализма в проявлении личности, на которой, например, находился Печорин, общение с другим человеком, объединение с ним на духовной основе не представляло долговременной, прочной ценности, хотя личность всё равно стремилась к нему. В исследуемой прозе, отражающей уже не только

⁵ О понимании христианства как “религии любви” в русской традиции см.: Франк С. Л. Духовные основы общества. — М., 1992. — С. 320; Бочаров С. Г. Сюжеты русской литературы. — М., 1999. — С. 358-362. Отец А. Мень в своей последней лекции — её мне довелось услышать — проводил различие между заповедью Моисея (“Возлюби ближнего твоего...”) и заповедью Христа (“Возлюби ближнего, как я вас...”), делая акцент на принципиальной новизне христианского отношения к человеку.

самоутверждение личности, но и целую нравственно-психологическую науку поведения человека в союзе с людьми, всё по-иному. На страницах Толстого, Достоевского, Тургенева и др. разворачивается своего рода "атлас" путей отдельного человека к людям, преодоления одиночества, прорыва к общению и человеческой солидарности. Плоский тематический подход, не различающий многозначности художественного изображения, может замкнуть отношения Левина с Кити в рамках так называемой "семейной темы". Но с и р о т с т в о Левина в начале романа, его тоска по семье имеют всеобщий характер, воплощают во многом духовное состояние человека в переходную эпоху. Семья для Толстого — гарантия относительной устойчивости существования личности во всемирном разладе. Тем важнее межличностные отношения, настойчиво испытываемые писателями-психологами.

Но не только сфера частной жизни и семейных отношений изучается ими для выяснения путей и средств преодоления розни между людьми. В какой-то мере эти как будто самые простые отношения оказываются сначала или недостаточно актуальными, или даже слишком сложными для художественного освоения. К ним русской прозе ещё надо было прийти, их ценность предстояло осознать. Не случайно период 60–70-х годов лишь завершается, условно говоря, "семейными романами" "Анна Каренина", "Братья Карамазовы", "Господа Головлевы". В 60-е же годы с той же нравственно-художественной задачей идёт, наоборот, освоение широчайшего социально-исторического содержания. Создается впечатление, что, лишь начав с него, можно было затем прийти к сосредоточенному рассмотрению сугубо частной жизни. Но хотя в "Войне и мире" семейная тема в том ключе, как она подробно освещается в "Анне Карениной", появляется только в эпилоге, "мысль семейная" есть в великой книге, и она связана с "мыслью народной"⁶. (Даже в романе о Раскольникове различимо её скрытое, "боковое" проявление). Зато доказательством присутствия в этих произведениях задачи на отыскание единства между людьми становятся и освещение войны как "противного человеческому разуму и всей человеческой природе события" /VI, VII/, и знаменитый эпизод с Даву, спасший жизнь Пьеру, и произошедшая наконец, но в условиях полевого госпиталя и трагической беспомощности, встреча князя Андрея с Анатолом Курагиным, и парадоксальные отношения преступника со следователем в романе

⁶ Ср.: Хализев В. Е., Кормилов С. И. Роман Л. Н. Толстого "Война и мир" / В. Е. Хализев и др. — М., 1983. — С. 45-64.

Достоевского. Да и в целом эти великие книги 60-х годов — художественное обоснование людского и всенародного единства, отыскание путей к нему. Поэтому Толстой из 60-х годов обращается к 1812 году, сравнивая в своем повествовании его и с бесславной войной 1805 — 1807 гг., и с разладом собственного времени. Поэтому бьётся над наполеоновской идеей Раскольников, задавшись целью нетерпеливо, одним махом, привести действительность в соответствие с идеалом.

Достигается это преодоление замкнутости единичной личности, выход её к горизонту всех людей и контакту с целым миром через устанавливаемые литературой диалогические отношения между личностью и другими людьми, человеком и миром. "Не соблаговолите ли допустить побеседовать? тоска смертнейшая-с!" — упрасивал "обманутый подпоручик" Живновский в "Губернских очерках" Щедрина [5, 55]. В психологической прозе эта тоска по слушателю и беседе не только Мармеладова, но и многих героев, мучающихся своей отъединенностью от других, переживанием вины отпадения от общего потока жизни. В то же время дружеские диспуты Пьера и князя Андрея, переходящие в исповедь, диалоги братьев Карамазовых, рассказы лесковских героев — не только реализованная в "художестве" настоятельная потребность, но и доступная искусству возможность идеального духовного общения. В них одинаково выразилось знамение времени. Раскрепощенная личность требует выслушать её, настаивает на ответе и понимании. И в первую очередь психологическая проза была в состоянии удовлетворить этому требованию.

В этом у русской литературы был источник и образец, чрезвычайно ценимый нашими писателями⁷. Это — дерзкая и гневная Книга Иова, содержащая бунтарские претензии личности к самому Богу и позволяющая уяснить условия диалога с личностью, достигшей зрелости и осознавшей свои силы. На пример "Иова многострадального" ссылается Макар Иванович в "Подростке", прощаясь с домашними перед близким

⁷ Вспомним, что у Ломоносова есть "Ода, выбранная из Иова", а Пушкин хотел перевести Книгу Иова. О ней восторженно отзывались Достоевский, Толстой, Гаршин и др. По мнению С. Л. Франка, "истинный ответ на негодующее недоумение Иова" — в христианском решении проблемы теодицеи, в образе и судьбе Иисуса Христа ("принятие на себя Богом всего мирового страдания") (Франк С. Л. Духовные основы общества. С. 346). См. также: Бахтин М. М. Проблемы творчества Достоевского. — Л., 1929. — С. 240, — и недавнюю статью: Хоц А. Н. Книга Иова и диалогическая эстетика Достоевского // Филологические записки. — 2001. - № 17.

концом /13, 330/. В “Братьях Карамазовых” отмечено воздействие Книги на восьмилетнего Зиновия – будущего Зосиму /14, 264–265/. “О, если бы кто выслушал меня! Вот моё желание, чтобы Вседержитель отвечал мне и чтобы защитник мой составил запись”, – говорит библейский Иов /31 – 35/. Он требует даже от Бога состязания на равных, справедливого поединка-тяжбы, требует объективного, беспристрастного протокола. Он не может умалиться перед самым высшим авторитетом, видит в инстанции своей личности равновеликое право и значение: “Сколько знаете вы, знаю и я: не ниже я вас. Но я и Вседержителю хотел бы говорить, и желал бы состязаться с Богом... Я желал бы только отстоять пути мои пред лицом его!” /13 – 2, 3, 15, 18/. Он готов на казнь и на смерть, но уверен, что будет доказана его правота /13–18/. Только на таких условиях возможно полноценное общение между личностями. Внимание к “другому”, способность жить его тревогами и бедами укрепляют полноту связанного с ним “я” художника. Между “я” и “другим” устанавливается неотменимая связь-взаимодействие⁸. Именно в момент торжества этой связи “как бы упраздняется закон общественной непроницаемости, люди забывают о границах общественных состояний”⁹.

Диалогичность – структурный принцип реалистической психологической прозы, и первичен в ней диалог автора с героем. Внимание к этой проблеме также впервые в нашем литературоведении привлечено М. М. Бахтиным. “Быть – значит общаться диалогически”¹⁰, – этой идее ученый последовательно верен в своих работах, в том числе и ранних. Наоборот, признак отчуждения от жизни, указание на приближающуюся катастрофу – нарушение языка общения, разрыв восприятий. Это открывается умирающему кня-

зю Андрею: “Мы не можем понимать друг друга” /VII, 66/. И диалогичность в отношении к другому человеку, установка на диалог в восприятии и показе людского общения относится, конечно, не только к Достоевскому. Эти понятия объясняют многое во всей культуре художественного гуманизма, в творчестве Толстого и других писателей этой поры. У Толстого, которого совсем было посчитали “монологистом”, Бахтиным недооценена внутренняя диалогичность изображения и особенно – характеров¹¹. “Диалектика души” диалогична. Позднее осознание этого внутреннего диалога Толстым ведет к схематизации в философско-публицистическом и художественном понимании человека. Тогда внутренние конфликты и противостояния в личности сводятся к противоречию между “разумным” и “заблудшим сознанием” /26, 373/, “разумным” и “животным” “я” /там же, 381/.

С диалогической установкой связаны главные открытия русской прозы. Диалог как проникающее начало изображения, диалогичность как принцип отношения художника к показываемому характеру необходимы в психологической прозе, действительно, прежде всего для “выяснения тайны другого” (Г. К. Шенников). Но диалог – это не только обнаружение и распознавание “другости”, но и торжество общности между его участниками, прорыв к взаимопониманию. С одной стороны, исходным и первичным для диалога является наличие взаимодействующих между собой отдельных личностных позиций. Диалогическая установка была бы неосуществима без заявления личности о себе, о своем “я” и вне взаимодействия с другими “я”. В то же время участники диалога включены в отношения, уравнивающие, умеряющие проявление каждого.

Поэтому диалогическая схема взаимоотношений (между художником и героем, между автором и героем, между героями) на практике может иметь различное наполнение, что очень важно для психологической прозы с ее летучим и зыбким предметом изображения – “внутренним человеком”. Границы между сознаниями в ней бывают и условны. Диалог в этой связи оказывается не только “противостоянием человека человеку, как противостоянием “я” и “другого” [6, 339], но и предполагает различные возможности согласия [7, 304], единства и идентификации между ними. Он и вероятен лишь при наличии общей основы и единых правил общения, при равенстве и полноценности участников, при по-

⁸ Ср.: “Всякое слово выражает “одного” в отношении к “другому”; “Слово – мост, перекинутый между мной и “другим” (Волошинов В. Н. Марксизм и философия языка / В. Н. Волошинов. – Л., 1929. – С. 102).

⁹ Берковский Н. Я. О мировом значении русской литературы. – Л., 1975. – С. 51. См. также: С. 144–146, 173.

¹⁰ Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. – 2-е изд. – М., 1963. – С. 338. И “всякое понимание диалогично” (Волошинов В. Н. Указ соч. – С. 123). Вокруг этой идеи возникла уже целая библиотека. Литературоведы оказались в самом сложном положении: им необходимо освоить специфику диалога применительно к литературе, но и другие аспекты им не чужды. См., например: Рымарь Н. Т. Диалог и проблема художественной деятельности (к вопросу о литературоведческой специфике понятия диалога) / Н. Т. Рымарь // Содержательность форм в художественной литературе. – Самара, 1993.

¹¹ Ср.: Галаган Г. Я. Л. Н. Толстой: художественно-этические искания / Г. Я. Галаган. – Л., 1981. – С. 100–101.

тенциальной достижимости согласия. "Акт понимания" не совершится без точек соприкосновения с "другим".

Различные степени и формы идентификации автора с героем в прозе 60–70-х гг. нуждаются в исследовании. "Я" – "другой" – это начальная схема. Но надо ли отрицать, что "другой" не всегда "чужой" – например, такой "чужой человек", которого так хорошо узнал Макар Алексеевич Девушкин и от которого он предостерегает Вареньку Доброселову /1, 58/?.. Сознание "другого" может быть воспринято и как "родственное", и как "близкое" или "свое". В разговоре с Пьером в Богучарове князь Андрей говорит о сыне, сестре, отце: "Да это все тот же я, это не другие..." /V, 117/. В полном смысле "чужим" может быть проявление при противоположности и полной отделенности позиций, но даже это не означает, что "чужое" – это "чуждое" или "враждебное". "Родственным" "чужое сознание" становится при совпадении в главном. С другой стороны, изображение автобиографичных Печорина, Левина – это изображение "близкого как другого". При всех вариантах возможны переходные и частичные формы, разные степени совпадения и несовпадения. Онтология изображения здесь опять взывает к аксиологии, и необходимо выяснение логики оценки, уточнение её ореола.

Но диалогическая установка была действенной у писателей-психологов не только в передаче людского общения – на диалоге строилось и утверждаемое русской литературой отношение к миру. Нетерпеливо вбивающий свою волю в не готовую к этому жизнь (сон о несчастной лошаденке, не способной понестись вскачь по приказу распаленного хозяина, – об этом), Раскольников не слышит голоса жизни, не учитывает её возможностей. И становится безвыходной трагедия, неминуемо наказание... Сам художник-реалист оказывается по отношению к отражае-

мой действительности и создаваемому поэтическому миру участником диалога. В этом условии его проникновения в жизненную правду. Только внимание к закону жизни, диалогический учет ее возможностей позволяют человеку найти с ней общий язык, прийти к соглашению.

Если прислушаться к Толстому в "Анне Карениной", в знании – "для чего надо жить и что хорошо" – основа единства одного с миллионами людей, "живших века тому назад и живущих теперь" /667/. Именно нравственными законами, "законами добра", человек "волею-неволею соединен с другими людьми" /683/. Человеку надо, чтобы его деятельность и судьба на всех людях "отражалась и чтобы все они жили" с ним "вместе"! /"Война и мир", V, 165/. Андрею Болконскому лишь перед лицом смерти удается достичь этого единства. Но познанный закон жизни объединяет продолжающего жить Левина "со всеми людьми" /667/. А за единством с другими людьми недалеко и единение с целым миром, с самим бытием. В сущности вся культура русского художественного гуманизма основана на поиске его.

ЛИТЕРАТУРА

1. Мандельштам О. Слово и культура / О. Мандельштам. – М., 1987.
2. Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. – М.-Л., 1938. – Т. III.
3. Григорьев Апполон. Эстетика и критика / Апполон Григорьев. – М., 1980.
4. Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. – Соч. М.-Л., 1963. – Т. V.
5. Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч.: В 20 т. – М., 1965. – Т. 2.
6. Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского / М. Бахтин.
7. Бахтин М. Эстетика словесного творчества / М. Бахтин. – М., 1979.